

Содержание

<i>Олег Куваев.</i> ТРОЙНОЙ ПОЛЯРНЫЙ СЮЖЕТ	
I. Упрямый капитан Росс	5
II. «Держать всё время к востоку».	36
III. Возвращение к исходному.	72
 <i>Юрий Казаков.</i> СЕВЕРНЫЙ ДНЕВНИК.	105
 <i>Борис Горбатов</i> ОБЫКНОВЕННАЯ АРКТИКА	
Большая вода	183
Роды на Огуречной Земле.	215
Дружба	228
Торговец Лобас.	249
Мы и радист Вовнич	278
Карпухин с Польныи	307
Разговор	331
Боцман с «Громобоя»	334
Возвращение Сатанау	340
Таян-начальник.	349
Поединок.	371

ТРОЙНОЙ ПОЛЯРНЫЙ СЮЖЕТ

Сборник произведений
О. Куваева, Ю. Казакова, Б. Горбатова

Вёрстка Наталья Гриц
Рисунки Ирина Ситдикова
Корректор Елена Шичкова

Издательство «Паулсен». 107031, Москва, Звонарский пер., 7
Тел. (495) 624-86-05, www.paulsen.ru

Наши соцсети:

 https://vk.com/paulsen_ru

 «Об Арктике и Антарктике»

Подписывайтесь на наш канал в Телеграм!

https://t.me/paulsen_moscow

Подписано в печать 29.03.2024. Формат 70x100/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.



Тройной полярный сюжет

Сборник произведений
О. Куваева, Ю. Казакова, Б. Горбатова



Paulsen 2024

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Т70

Текст публикуется по изданиям:

О. Куваев. Сочинения : в 3 т. Т. 1. Повести. – М. :

Престиж Бук, 2013. – 512 с., ил.

Ю. Казаков. Северный дневник. – М. : Советская Россия, 1973. – 371 с.

Б. Горбатов. Обыкновенная Арктика : Рассказы, публицистика. – М. :

Молодая гвардия, 1975. – 352 с.

Обложка, иллюстрации: Ситдикова Ирина Витальевна

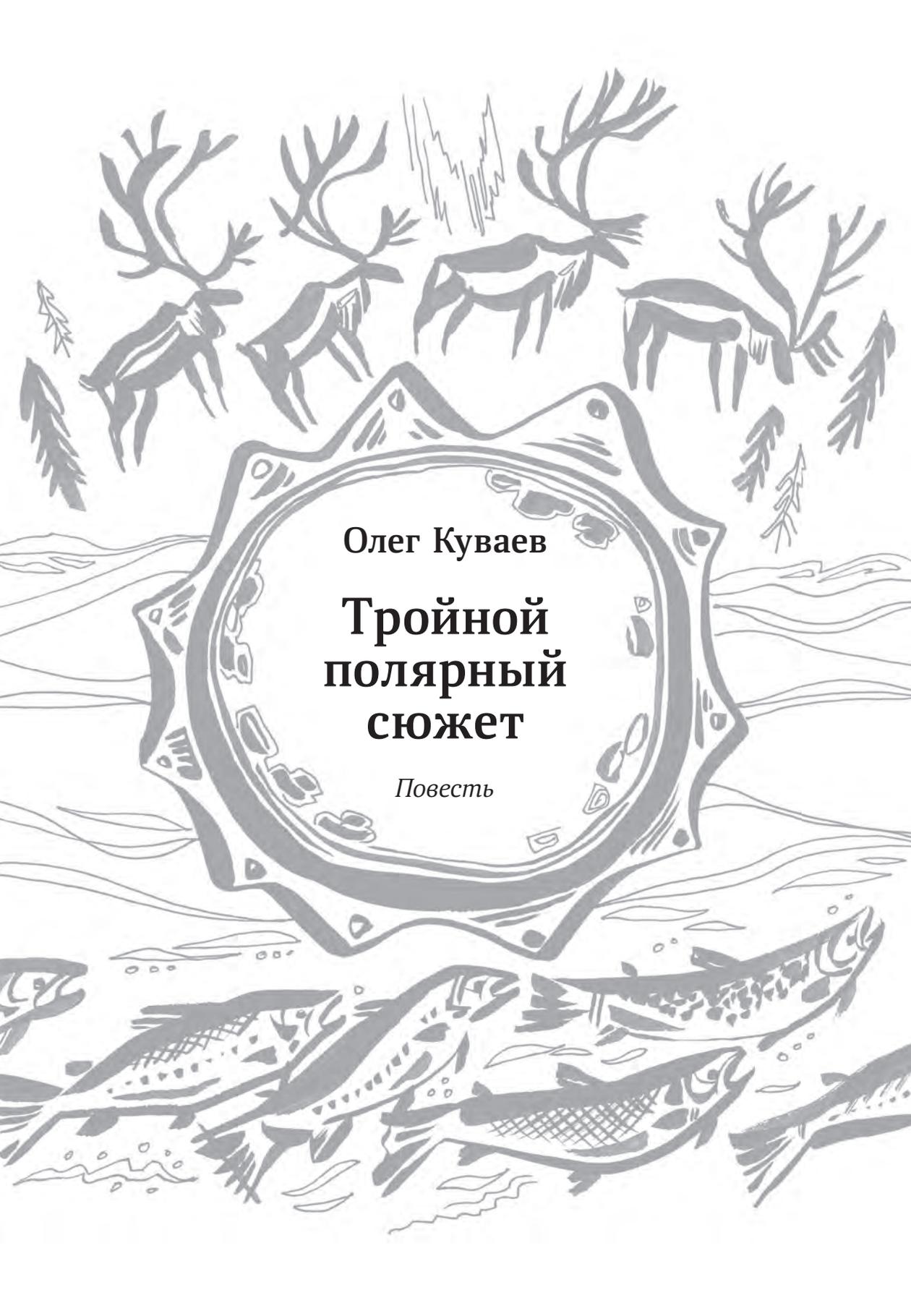
Т70 Тройной полярный сюжет : сборник произведений О. Кувае-
ва, Ю. Казакова, Б. Горбатова / [обложка, иллюстрации И. В. Сит-
дикова] – Москва : Паулсен, 2024. – 384 с.

ISBN 978-5-98797-397-4

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-98797-397-4

© Куваев О. М., наследники, 2024
© Казаков Ю. П., наследники, 2024
© Горбатов Б. Л., наследники, 2024
© ООО «Паулсен», макет, 2024



Олег Куваев

**Тройной
полярный
сюжет**

Повесть



Фото из семейного архива Куваевых, публикуется впервые

Олег Михайлович Куваев
(1934–1975)

– I –

Упрямый капитан Росс

Катастрофа

На заснеженном горном склоне, который под мартовским солнцем был так ослепителен, что временами казался чёрным, шли горнолыжные соревнования. Фанерная доска с фамилиями участников, номерами и секундами против них извещала, что шёл третий и последний пункт горнолыжной программы – скоростной спуск.

Трасса была прорублена в соснах. Могучие горные сосны в торжественной зелени и бронзе стволов придавали происходящему почти ритуальный оттенок. Выше по склону сосны исчезали, и вдали, совсем уж торжественно чёткие, выступали снеговые вершины и пики.

Внизу была суета. Цветными пятнами разместились здесь кучки болельщиков: коричневых от солнца парней и девиц в невыносимой расцветки свитерах, невероятных фасонов тёмных очках, с горными лыжами, украшенными всей геральдикой мира, – околоспортивная публика.

И совсем одиноко на фоне горных вершин стоял при двух костылях и одной лыже, ибо другая нога была в гипсе, сожжённый солнцем до черноты сухопарый ас горнолыжников.

Далеко вверх, где трасса исчезала в поднебесье, показывалась облачной мошкой летящая вниз фигурка.

Сжимая костыли, ас смотрел на фигурку, бормотал с акцентом:
– Идош, да?

Фигурка исчезала на мгновение и вылетала из-за склона: поджатые руки и колени, шлем, тёмные очки и воздушный свист – человек уносился вниз, в расплывчатые цветные пятна.

Ас снова смотрел вверх, где следующий уже мчался в смертельную неизвестность и чего сегодня был лишён он, корифей скоростного спуска.

...На вершине горы, где был старт, уже не стояли торжественные сосны. Среди тёмных скал здесь посвистывала позёмка. Лыжники с номерами на груди и спине, их осталось немного, нервно разминались, ждали своей минуты. По чёткому интервалу стартов, по тому, что не было затяжек и перебоев, все знали, что пока никто ещё не «гремел», что, значит, трасса в порядке. Но... всякое может быть за три стремительные и бесконечно длинные минуты спуска.

– Номер сорок семь. Ивакин. РСФСР, – сказал в телефонную трубку помощник арбитра. В шубе, валенках, лохматой шапке выглядел он странно среди обожжённых высотным солнцем, затянутых в эластик парней.

Сашка Ивакин в это время говорил о чём-то с тренером, как и все кругом, демонстрируя беззаботность. Это ему почти удавалось, так как спорт ещё не успел огрубить мальчишескую мягкость его лица.

– После середины «плечо», за «плечом» – «пупок». – Тренер машинально присел, спружинил ногами.

– Знаю. Всё знаю, Никодимыч, – сказал Сашка.

Он нагнулся и одну за другой защёлкнул на ботинках сверкающие «лягушки». Вначале суеверно на правом, потом на левом. В щиколотках сразу возникла уверенная тяжесть, лыжи стали продолжением ног.

– Эй, Русь! – поторопил судья.

Сашка подмигнул тренеру. В тот же миг лицо как бы стянулось на жёстких пружинах, морщины легли в углах рта. Когда он выкатил к старту, было уже не лицо – рубленая топором маска. Сашка надвинул шлем, очки и преобразился ещё раз – не человек, механизм для смертельного испытания.

– Пшёл! – Судья сделал отмашку красным флажком.

Сашка толкнулся палками, ещё толкнулся, чтобы набрать скорость, сдвинул лыжи, согнул колесом спину, вынес руки с палками под подбородок, и стремительно засвистела трасса, мягко начали пофыркивать лыжи.

В бешеном вираже, окутавшись облаком снежной пыли, Сашка прошёл поворот трассы, но тут правая Сашкина лыжа на что-то

наткнулась, он сбился, выровнялся, и в это время резко исчез под ногами склон, и он с нелепо задранной лыжей так и летел в воздухе. Голова, шлем, лыжи, руки, снежная пыль – катился Сашка Ивакин по склону и наконец замер, врезавшись в могучий сосновый ствол.

Взвыла на дальней дороге сирена скорой помощи. Тревожно вздохнула и заговорила толпа разноцветных болельщиков.

Прокатилась к финишу одинокая лыжа, сорванная с ноги Сашки Ивакина, и толпа расступалась перед ней.

Ловко балансируя костылями, скатился к нему на одной лыже покалеченный ас.

– Друга, а? Живой, а? – Выпрямил спину и загадочно гаркнул вниз: – Тоббоган!

Какие-то бодрые юноши уже тащили алюминиевое корыто с красным крестом: санитарные нарты тоббоганского типа.

Разноцветная толпа облепила сосну, и метеором врезался в толпу примчавшийся сверху седоголовый тренер.

Сашка лежал у сосны. Ремень шлема лопнул под подбородком, шлем сбился набок, струйка крови текла по лицу.

Озабоченно протиснулся врач и открыл коробку со сверкающими инструментами.

Сашкин взгляд был бездумно светел, бездумно прост. И отражались в нём цветные пятна, сосны, горы и снег.

...Втыкая каблуки горных ботинок в склон, тренер сам спускал Сашку Ивакина. Шапку он где-то потерял, и солнце безжалостно высвечивало и седину, и рваный шрам поперёк лица, и мёртвый, безжизненный глаз. Живой тренерский глаз неотрывно смотрел на Сашку.

– Саш! Саша! – тихо позвал тренер. Но бездумен по-прежнему был взгляд Сашки Ивакина. Бездумен и прост.

Утверждают, что в критические минуты перед глазами человека проходит «вся его жизнь». Автор не встречал людей, сказавших бы «со мной это было». Но он встречал тех, которым в смертный миг приходили в голову посторонние мысли.

Взбаламученный мозг Сашки Ивакина занят был не горькими мыслями, не мог он осознать и своё положение. Перед его глазами, вроде бы как в кино,плыли цветные картинки давней мечты, вставали люди, которых он никогда не видел, но знал лучше многих, живущих рядом.

Кабачок «Пьющий кит». Лондон, 1818

Май в Лондоне 1818 года был ветреным и холодным. Туман закрывал стены домов, булыжник на узкой припортовой улочке был мокрым, и сквозь этот туман еле мерцал фонарь, укрепленный над вывеской кабачка «Пьющий кит». На вывеске был изображен кит с кружкой.

Кабачок этот был тёмный, пуст. В голых своих стенах, при голых столах и за пустой стойкой стоял молчаливый хозяин, вперив в пространство ничего не выражающий взор.

В этом мрачноватом заведении нельзя было пить в одиночку. Посетителей же было трое: толстяк в вязаном жилете – явно рыботорговец; обветренный малый с бедовыми, выдавшими виды глазами, в матросской суконной куртке, и ещё одного рассмотреть было нельзя, потому что он не то спал, положив голову на руки, не то просто задумался о безысходности бытия. Все трое сидели за одним столом, освещённые одним кругом света.

– Император Карл Пятый и ко-ро-лева... – торжественно подняв палец, говорил рыботорговец.

При слове «королева» человек поднял голову. Был он горбоносый, смуглый, нездешнего, южного облика.

– ...И ко-ро-ле-ва Венгерская, – покосившись, продолжил рыботорговец, – ...посетили могильный камень фламандца Вильгельма Бинкельса. Чем заслужил такую честь этот фламандец? Тем, что изобрёл новый и прекрасный способ засолки сельди. Весь мир ест сельдей, но способ засолки...

– Ер-р-рунда! – Горбоносый снова поднял тяжёлую голову. На смуглом худом лице тревожными бляшками белели глаза. – Треска! Венгер-рская кор-ро-лева! Посетили могильный камень! В Гудзоновом заливе нас сжало так. – Он взял в руки глиняную кружку и сжал её в грязных ладонях. Кружка треснула.

– Две монеты, – сказал в пространство хозяин, не повернув головы.

– Радуйся, что я жив, грабитель, – отмахнулся матрос. – Я говорю: вначале сжало. Потом отпустило. А когда опять сжало и опять отпустило, то было половина трюма воды. Кто выкидывал сундучки на крошечный лёд, кто поносил всех святых, кто ждал, что будет из этого светопредставления. А потом сжало снова. Сжало и понесло, и тут уж все принялись молиться... А Рыжий закричал с бака, что видел Её.

– Кого? – спросил рыботорговец.

– Розовую чайку, – помедлив, ответил матрос.

Обветренный малый покивал головой.

– Когда он крикнул, что видел розовую чайку, все бросили молиться и начали откачивать воду. Мы качали, а нас тащило вместе со льдом на Северный полюс.

– Их подобрал китобоец где-то возле Аляски, – тихо пояснил рыботорговцу обветренный. – Видеть розовую чайку – значит спастись.

– Про эту птичку я слышал раз двадцать, – сказал из-за стойки хозяин. – Половина тех, кто терпел крушение во льдах и выжил, говорят, что в самый страшный момент появлялась она. И люди спасались.

– Молчи, убийца, – сказал пьяный матрос. – Ты её видел, а Себастьян?

– Её видел Рыжий. Но Рыжий погиб.

– Вот-вот, – насмешливо подхватил хозяин. – Все её видели перед тем, как спастись, и никто из уцелевших не видел. Всегда её видел кто-то другой.

– Рыжий кричал, что видел. И мы... мы-то спаслись? Против этого спорить не будешь? – Себастьян хотел что-то добавить и осёкся.

Дверь кабачка «Пьющий кит» распахнулась с треском. Ветер влетел в тишину и прошёлся между столов, как полисмен, посетивший в глубокий ночной час злачное место.

Держась под руки, в дверь медленно ввалились четыре фигуры. Драная одежда, чёрные, обмороженные, истощённые лица, и на лицах этих горели шальные от пьянки и возбуждения глаза.

– Ром! – хрипло сказал один, и остальные прикрыли на миг лешачьи глаза в знак подтверждения.

Все четверо плюхнулись за один стол и сдвинули табуретки, точно опасаясь расстаться хотя бы на миг.

– Ребята! – радостно сказал Себастьян. – А вот и наши. Пьяны, как на берегу.

...Капитан Росс шёл по узкой улочке припортового Лондона. Сырость, темнота и туман смешивались здесь, как в канале, и стенками канала были мокрые тёмные стены кирпичных домов с тёмными глазницами окон, а дном – разбитый булыжник. Тусклые головы фонарей были размещены здесь редко и неравномерно. В столь поздний час по таким районам бродили только подозрительные личности и потерявшие цель гуляки.

Но капитан Росс был трезв. Он плотно закутался в плащ, оттянутый сзади короткой морской шпагой. Шаги гулко стучали по мокрому камню.

В тусклом фонарном свете было видно, что он далеко не молод, а может, его старили морщины у носа и уголков рта, а может быть, всё дело заключалось как раз в освещении.

По залитой туманом и ночью улице шёл хмурый, тяжеловесно собранный капитан Королевского флота, один из представителей славной морской фамилии Россов. Всё это время в ушах у него звучал сухой и официальный голос со старческими придыханиями и неожиданными раскатами привыкшего повелевать человека.

«...По отбытии от берегов Англии Вам надлежит взять курс на Гудзонов залив, выбрав для этого кратчайший при сложившейся морской обстановке путь...»

Какая-то неясная фигура прислонилась к стене дома. Фигура проводила капитана Росса по-волчьи блестящими глазами.

«...Оставив к весту Баффинову Землю, искать к весту же выхода в море Бофорта... Острова к норд-весту от Девисова пролива изучены слабо, и Вам, капитан Росс, надлежит надеяться на собственную осмотрительность... При удачном стечении обстоятельств и выходе к Берингову проливу как можно дальше пройдите вдоль берегов Сибири, помня о том, что эти земли крайне интересны короне. Любые Ваши усилия в этом направлении будут оправданны...»

«...Туземцы... животные на берегах... – раздумчиво продолжал голос. Буде таковые есть, капитан, в тех краях...»

– Буде таковые есть, – пробурчал Росс.

– Остр-ровам не дают наше имя! – Двое пьяных выплыли на перекрёсток, поддерживая друг друга.

– Не шатайся, Черпак, – бормотал один из матросов. – Ты видишь, сэр стоит прямо.

– Да он же трезвый... сволочь, – с детским изумлением сказал Черпак, уставившись на капитана Росса. – Трезв, как фонарный столб. Клянусь бабушкой моего боцмана – это капитан Росс. Скоро он будет прямой, как сосулька. Вся команда будет пряметь, как сосулька, там, за Гудзоном... – Голоса матросов исчезли в тумане, как в вате.

Волна Темзы слабо била о деревянную пристань. Мерно качались чёрные ослизлые лодки. Капитан Росс сбежал по отлакированным сыростью ступенькам. На шесте у одной лодки горела оплывавшая

свеча в закопчённом фонаре. Лодочник дремал, укутавшись в шаль. Росс постучал сапогом о борт лодки.

– Эй, Харон!

– Да, сэр! Слушаю, сэр! – ошалело сказал лодочник, скидывая шаль и машинально хватаясь за вёсла.

Он оглянулся, узнал капитана и улыбнулся беззубой улыбкой.

– Доброе утро, сэр. Хорошо погуляли? На судно?

У нас нет ни имён, ни званий,
Мы быдло, палубный скот,
Только тот, кто моряк по призванью,
Не бросает английский флот.

Оstroвам не дают наше имя.
У нас клички и нет гербов.
Эй, на ванты!
Смерть морским молитвам не внемлет,
Рвётся жизнь, как манильский трос,
Но всегда Неизвестную Землю
Первым видит с мачты – матрос!

Матросская песня XVIII века

В больнице

Сашка Ивакин лежал на операционном столе, закутанный в стерильное белое облако.

Группа врачей в углу операционной вполголоса переговаривалась, готовясь к операции.

– Перелом ноги, два ребра...

– Рентген показал трещину в черепе...

– Рвота отмечена?

– Да. Первые полчаса после травмы.

– Типичное сотрясение мозга.

Сашка лежал с открытыми глазами. Ему поднесли наркозную маску.

...В вестибюле больницы сидели товарищи Сашки по команде – крепкие загорелые ребята в одинаковых спортивных пиджаках яркого цвета, одинаковых брюках и замшевых туфлях. На коленях у всех лежали одинаковые бельгийские плащики, и было приятно смотреть

на этих ребят со свежими от загара лицами, на которых спорт всё-таки наложил отпечаток преждевременной зрелости и возмужания.

Тренер сидел, положив руки на колени, и смотрел в пол.

Тихо открылась дверь. Вошёл ещё один – как был в блестящем эластике с белыми полосами вдоль брюк, только накинул куртку.

– Как? – шёпотом спросил он.

Ребята пожали плечами.

– Шаганов взял золотую по трём видам, – сообщил он.

– А спуск? – так же шёпотом спросили его.

– Габридзе.

Спортивные юноши покивали головами. Один встал и направился в глубину белоснежного коридора. Тренер поднял голову. И все стали смотреть в коридорный проём. На цыпочках парень вернулся.

– Прогнали! – объяснил он. – Ничего не известно.

Ребята шёпотом переговаривались между собой.

– Сашка взял бы.

– Габридзе всё-таки...

– А Ловягин?

– Загрел на втором перепаде.

– Эх, Сашка...

В вестибюле стало тихо. Уставившись в пол, думали свою думу спортивные мальчики. Тренер посмотрел на часы.

– Спать!

– Соревнования-то кончились, Никодимыч.

– Спать! – жёстко повторил тренер, и мальчики беспрекословно потянулись к выходу, оглядываясь на белую дверь, за которой маялся в наркотном дурмане друг-приятель, надежда команды Сашка Ивакин.

Документы

«В 1823 году из Кронштадта вышла экспедиция на бриге “Предприятие” под командой О. Е. Коцебу и, вероятно, летом 1824 года достигнет мыса Ледяного и направится навстречу Парри, который будет стремиться от Ланкастера к западу... Таким образом, слава географических открытий оспаривается искусными мореплавателями двух сильнейших морских держав Европы, которые не жалеют усилий, одушевляясь желанием решить прежде всех важнейшую географическую задачу».

«Курьер Глазго», 1824 г.

«Англии не простится, и она станет посмешищем всего мира, если позволит какой-либо другой стране из-за своего безразличия ограбить себя, лишит всех своих предыдущих открытий».

*Письмо в Королевское географическое общество
полярного капитана Джона Барроу, именем которого
назван крупнейший мыс Аляски, 1829 г.*

«Одно из судов экспедиции в честь Вас и как подтверждение Ваших заслуг и талантов я назвал “Крузенштерн”... Если произойдёт кораблекрушение, “Крузенштерн” станет нашим последним прибежищем, поэтому особенно символично название этого судна, как дань Вашей ценной работе по Тихому океану. ...Если я дойду до границ русских владений в Америке, я водружу там флаг России, ибо моя экспедиция носит чисто научный, а не политический характер».

Письмо Джона Росса Крузенштерну, 19 марта 1829 г.

«...Познание таинств мира есть первейшая обязанность всякого путешественника. летописи морской истории полны сообщений о невероятных чудесах. О морском змее, известном под названием Краббен, Горвен или Анкетроль. О сельдьяных “королях”, которые определяют маршруты стад рыбы. О птице Едредон, которая вырывает из груди пух необычайной мягкости и выстилает им гнездо. В последней нетрудно узнать обыкновенную гагу. Известны также легенды о розовой чайке, странной птице арктических стран, которая приносит спасение гибнущим мореходам. Как всегда, в этих историях трудно, а подчас невозможно отличить правду от вымысла...»

Из дневника капитана Росса

...Когда бог создал океан,
Три дня, три ночи пил,
Тут чёрт пустился на обман
И воду льдом покрыл...

Песня китобоев

В сентябре 1818 года оба судна экспедиции Джона Росса были зажаты льдами в проливе Ланкастера. Но капитан Росс ещё не знал, что это пролив. Точно так же, как до этого лета он не знал, что

Баффинов залив является именно заливом. Поистине это была загадочная страна. Проливы, которые кончаются тупиком, заливы, похожие на проливы. Низкие берега сливаются с морем. И всё закрывают туманы. Туманы, дожди и снег. Снег среди лета. Все привычные представления о трудностях мореплавания здесь переворачивались. Здесь не было штормов. Не было тропических лихорадок. Не было экваториальной жары. Не было разбойных судов, и пушки на борту судна казались ненужным балластом. «Здесь надо заново осваивать морскую науку», – думал капитан Росс.

Командир вспомогательного судна Эдуард Парри предложил пробиваться дальше на северо-запад. «Каким образом?» – спросил Росс. «Мы победили при Трафальгаре – победим и здесь», – сказал высокомерно молодой лейтенант. Росс усмехнулся. Не ладились у него отношения с этим честолюбивым лейтенантом Парри.

– Так как всё-таки вы рассчитываете пробиться к норд-весту? – повторил капитан Росс.

Лицо лейтенанта покрылось багровыми пятнами. Росс отвернулся. Он чувствовал небеспричинное озлобление. Он вышел из семьи адмиралов и сам уже много лет был капитаном. Он знал тяжесть ответственности за порученное дело, за людей, за честь морской фамилии Россов. Именно поэтому он ненавидел адмиралтейских выскочек, ловцов момента, эфемерных болтунов. Какие-то странные пришли времена. Не дело ценится, а фраза, удачно ввёрнутый каламбур.

Серый в серых сумерках лёд окружал корабль. Да, надо заново учиться плавать. Здесь как бы другая планета. Другая земля, с сумрачным и непонятым очарованием.

Вскоре выяснилось, что корабли вмёрзли в лёд окончательно. Когда лёд установился, Росс отправил команды судов на берег для сбора плавника. Хорошо, что он позаботился об этом заблаговременно. В ноябре пришла ночь. Печки, установленные в кубрике и кают-компаниях, топились, хотя тепло держалось только на расстоянии вытянутой руки. На потолке, под койками, в углах кают копился лёд. Люди болели от сырости. К весне несколько человек заболели цингой. В начале июня появились забереги и птицы. К концу июня по льду прошли трещины. Но лёд стоял всё так же и мёртвым панцирем держал корабли. Вполне может случиться, что он вообще их не выпустит. Стояла тревожная слепящая мгла полярного дня. Было тоскливо.

Росс решил высадиться на берег. Матрос Себастьян, перед самым отходом экспедиции подобранный в портовых кабаках, предложил сде-

лать маленькую шлюпку для двух человек. Такая шлюпка пройдёт по разводьям. А если разводий не будет, её можно перетащить по льду. Так делают китобои. На палубе стучали топоры, визжал рубанок. Готовилась шлюпка. А внизу у борта стоял шорох. Лыдины тёрлись о борт.

...Они уже в третий раз вытаскивали шлюпку на лёд. Вытащили и, не сговариваясь, остановились, утирая пот. Капитан Росс – грязным полотняным платком, Себастьян – просто ладонью.

– Чёрт побрал бы эту одежду, – пробурчал Росс. – В ней можно только сидеть. Ходить и двигаться в ней невозможно.

– В ней удобно тонуть. Сразу на дно, – как эхо откликнулся Себастьян.

– Давай, – взялся за лодку Росс. – Осталось немного.

Они перетаскивали лодку через ледяное поле. Лёд был ноздреватым и серым. Дальше до самого берега шла мелкая кашица из перемолотого и битого льда. Отталкиваясь вёслами, кое-где отгребаясь, они за два часа добрались до берега. Берег был покрыт тёмной галькой. Кое-где между камнями торчали жёлтые кусты метлицы. Кусты качались и дрожали на ветру. Вдаль уходила равнина – унылый пейзаж Канадского архипелага, Северо-Западной Арктики. На севере вырисовывалась невысокая горная цепь. Она была чёрной, и только кое-где на ней лежали пятна снега. Не то недавно выпавшего, не то оставшегося с зимы.

– Надо ставить палатку, – решил Росс. – Завтра пойдём к горам.

– Капитан! – тихо позвал матрос. – Капитан, смотрите!

...Он указывал на стаю странных розовых птиц. Птицы летели вдоль берега. Заметив людей, они стали кружиться невдалеке. Несколько птиц отделились, уселись на гальку – розовое пятно на тёмном фоне. Слышались тихие птичьи крики, и птицы то кружились, то взмывали вверх, то падали вниз.

– Это розовая чайка, – сказал Себастьян. – Её видел Рыжий.

В первую минуту капитан Росс не поверил своим глазам. Да, он слышал много легенд о розовой чайке. Кто из моряков их не слышал, но увидеть самому...

Неизвестно, сколько времени они так стояли. Потом стая улетела.

Ночью капитан Росс не спал. Он сам не мог объяснить почему. Он вспомнил птиц, всё плавание вдоль забитых льдом хмурых берегов, прошедшую жизнь, безудержный свет полярного лета и многое другое. «Я пережил миг, который меняет жизнь» – так примерно сформулировал он мысли. И по какой-то смутной печали он теперь

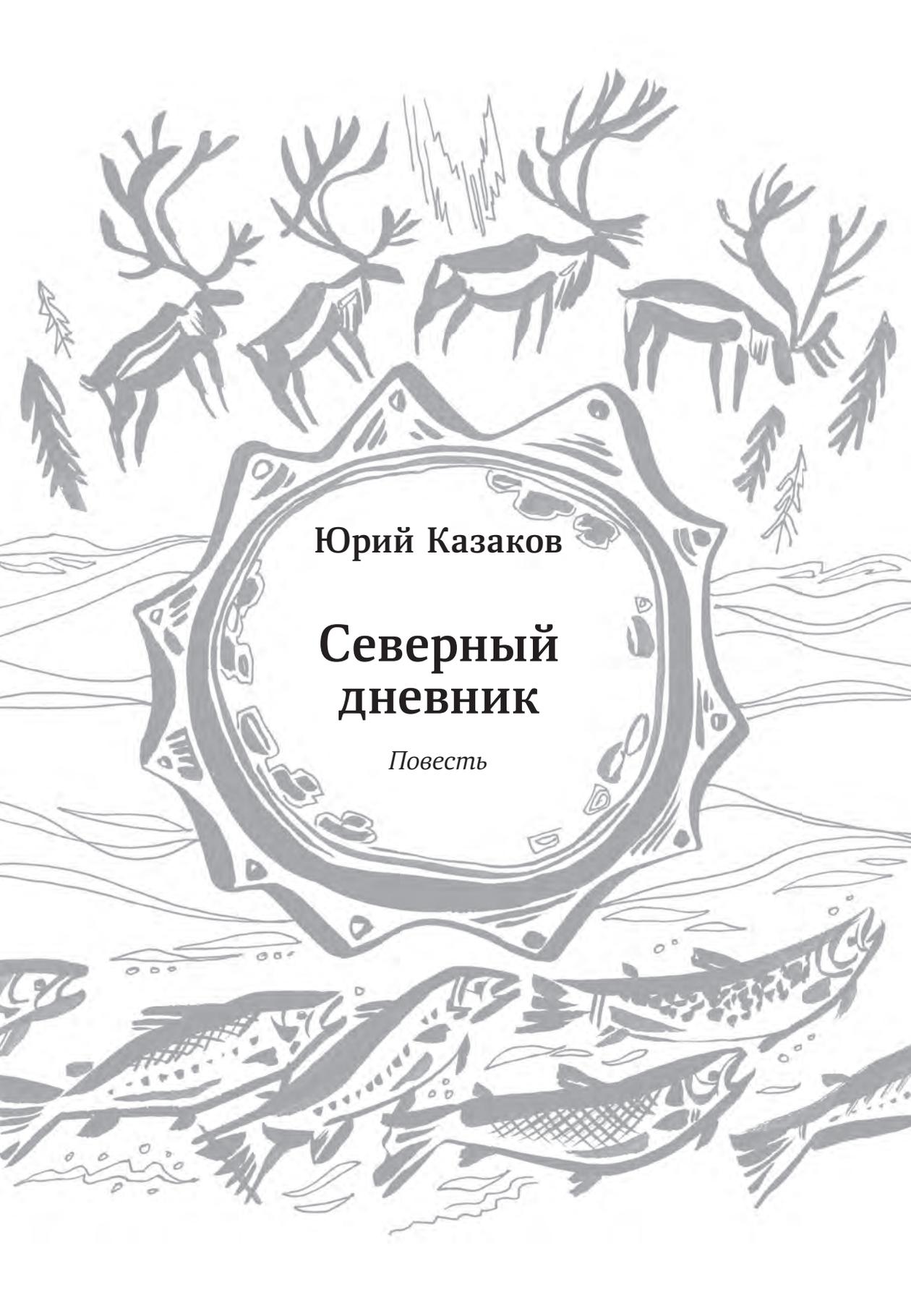
твёрдо знал, что отныне вся его жизнь будет связана с неприветливыми полярными странами. И ещё он чувствовал, что не будет счастлив и знаменит.

Неизвестно, как повлияла эта ночь на его решение. Но на другой день он отдал приказ при первой подвижке льдов возвращаться в Англию. Он решил повторить экспедицию на будущий год. Он ещё не знал, что по возвращении самолюбивый Парри подаст рапорт о неправильном руководстве экспедицией и что ему, Россу, долго не видать полярных морей.

О тех далёких островах,
 Ио-хо-хо, ха-ха!
Не знал Христос, забыл Аллах,
 Ио-хо-хо, ха-ха!
Там Будды нет и чёрта нет,
 Ио-хо-хо, ха-ха!
Там неизвестен звон монет,
 Ио-хо-хо, ха-ха!
На тех далёких островах,
 где солнца свет потух,
Увидел Джонни птицу Рух,
 Ио-хо-хо, ха-ха!
На перекрёстках всех морей,
 Ио-хо-хо, ха-ха!
Он всем рассказывал о ней,
 Ио-хо-хо, ха-ха!
И в наказание за то,
 когда домой приплыл,
По всем портовым кабакам
 лишён кредита был...
Матросская песня

Никодимыч

Хирург снял марлевую повязку. Лицо его было усталым и хмурым. Он снял у раковины перчатки, с сомнением оглянулся на Ивакина, укутанного в гипс и бинты. Тренер спал в вестибюле в кресле. Вышла женщина в белом халате.



Юрий Казаков

**Северный
дневник**

Повесть



Юрий Павлович Казаков
(1927–1982)

Северный дневник

– 1 –

Пишу в носовом кубрике при свете ламп и зеленоватых потолочных иллюминаторов. Мы выходим сейчас из устья реки Мезени в море. В этой узкой горловине небольшие морские покатые волны сжимаются, дробятся, шлёпают по скулам нашего сейнера, и кубрик заметно потряхивает.

Иногда, как птица, я прикрываю глаза, прислушиваясь к себе. Но нет, ничего, пока терпимо, и я снова берусь за тетрадь.

Напротив меня сидит радист с широким серьёзным лицом, неторопливо, задумчиво обедает. Стол в кубрике липок и грязен. На краю стоит алюминиевая миска с беломорской селёдкой, горой лежит хлеб, сахар, стоят кружки, пустые и с недопитым чаем.

То и дело над головой начинает грохотать, в узкой и низкой двери на почти отвесном трапе показываются сапоги, потом в кубрик, нагибаясь, входит кто-нибудь, щупает чайник, наливает в первую попавшуюся кружку, пьёт, перекидывается с радистом несколькими словами, и снова стук по трапу, опять сапоги, на этот раз поднимающиеся, – уходит на палубу.

Этот рейс у сейнера как бы ненастоящий: вместо рыбы и грузов везут только нас, везут из Мезени в Койду – большое поморское село, за сто десять километров. Сейнер только что разгрузился в Мезени, почти половина команды поэтому осталась на берегу, осталась и повариха, прибрать некому, да и не хочется, по-видимому, не то настроение – хочется поговорить, выпить, поспорить, показать и объяснить нам как можно больше.

Хорошо писать под разговоры, под гомон быстрой северной речи, в табачном дыму, в запахе рыбы, острого рассола... Можно слушать и не слушать, можно бросить недописанную фразу на полдороге,

чтобы прислушаться к другой, можно захлопнуть тетрадь, выпить водки и самому взяться за горячий спор, почему банка Окдена называется банкой Окдена.

И покуда ровно, едва сотрясая корпус, гудит в корме дизель, покуда слегка поваливается вниз и так же взмывает кубрик, покуда вокруг меня всё прибавляется матросов, всё усиливается и учащается говор, покуда я слушаю и смотрю вокруг – на лица, на одежду, на койки, на трап, на потолочные иллюминаторы, стараясь всё это запомнить, – мысли мои гуляют далеко, пока наконец я не потрясаюсь вдруг радостью и удивлением, что я здесь, на Белом море, в этом кубрике, среди этих людей.

Когда-то в детстве знал я одного человека странной, тёмной тогда для меня судьбы. Был он сух, костист и как-то пронзительно, часто до неприятности даже, остёр, стремителен. Чёрные глаза его во хмелю горели фанатическим огнём человека, потрясаемого дивными воспоминаниями. И ничего не помню из его слов, помню только, что не давал он никому слова молвить, кричал, стучал маленьким костистым кулачком и открыто презирал всех. А презирал потому, что прошёл и проехал когда-то от Пинеги до Мезени.

«От Пинеги до Мезени! – говорил он шёпотом, зажмуривался и крепко стучал кулачком. – А? Эх, ты!.. Понимаешь ты это? От Пинеги до Мезени прошёл я весь Север!»

С тех пор эти два места казались мне мифически удалёнными от всего нашего, человеческого. Разные другие места, города и деревни были как-то понятны мне, они были где-то рядом со мной, но вот Мезень... Даже позже, когда я учился в школе и мог в подробности рассмотреть на карте эти места, они всё равно представлялись мне недостижимыми.

И вот несколько дней назад на пароходе «Юшар» мы пришли в Мезень, и ходу было всего два дня от Архангельска...

Весь июль стояла на Севере противоестественная жара. В Двине купались ночью. В Нарьян-Маре ненцы заболели от жары. Где-то на огромных массивах за полярным кругом горели леса и тундра. Солнце, едва склонившись за горизонт, тотчас восходило с обновлённой страстью. И весь день потом заливало робкую землю нестерпимым светом.

В один из таких ослепительных полдней пароход «Юшар» – старый, узкий, домашний – отвалил от пристани в Архангельске и пошёл вниз по Двине, к Белому морю. Всё в этой нашей поездке было

знойным, ленивым, южным. Белое море было прозрачно и спокойно, как спокойны бывают вечерами наши деревенские прудки. Пароход вспарывал, раскидывал на стороны белоснежные хлопья воды. Перед нами и вокруг нас было два неба – вверху и внизу, и трудно было найти линию горизонта.

И капитан «Юшара» Юрий Жуков совсем не походил на северного капитана, а скорее на капитана какой-нибудь тропической экспрессной линии – так он был смугл, изящен, такие были у него щегольские усики, такая свежая рубашка с закатанными рукавами и такой галстук!

И зной, царивший на пароходе, в его каютах, в его столовых под красное дерево, блеск медных частей, рубка, на которую больно смотреть, загорелые матросы – всё, всё было южное, дремотное, привыкшее к ошеломляющей роскоши тропических дней и чёрнобархатным провалам ночей.

Но было в то же время кругом что-то грозное, с затаённой мощью напоминавшее о себе. Что-то подкрадывалось, вставало вокруг и не позволяло успокаиваться, нежиться – наоборот, настораживало, как звук, всё повышающийся до тончайшей бесконечности, как шепчущий голос: «О! О! Смотри! Смотри!..»

Время шло, вот исполнилось восемь, вот десять, вот одиннадцать... А небо всё так же сияло, и море сияло, и становилось ещё продолжительней, дальше и ниже, а мы – на высоком носу, раскидавшем ледяные хлопья пены, как бы всё повышались, повышались и вроде летели уже – туда, где за горизонтом стояло невидимое нам, но видимое небу, и морю, и спящим птицам солнце.

А справа от нас то уходил за горизонт, то приближался, восставал мрачный пустынный берег с ниспадающими в море тяжёлыми каменными вертикальными складками. И от воды дышало иногда таким глубинным, таким тысячелетним холодом, что сразу на память приходили готовые, «законвертованные» речные суда, баржи – десятки, сотни, которые должны идти через Ледовитый океан в Обь и Енисей и которые стояли на рейде в Архангельске, потому что лёд в океане ещё не разошёлся. Север, Север!..

Так встретило нас Белое море, полярный круг, остров Моржовец, в виду которого простояли мы чуть не полсуток, дожидаясь прилива, чтобы идти в Мезень с приливной водой. А ночная Мезень встретила нас футбольным матчем, о котором стоит рассказать подробнее.

Во время стоянки возле острова Моржовца мне понадобилось послать радиogramму в Москву. Я поднялся на мостик, разыскал радиорубку, вошёл и был мгновенно очарован обилием раций, амперметров, переключателей...

Радист при мне стал передавать радиogramму. Радиogramма принималась Архангельском. Та-ти-ти-и-та-та-та... – молниеносно выстукивал радист. Та-ти-ти-и-та-та-та... – так же молниеносно повторял Архангельск, и вместе с этими быстрыми и высокими звуками беспрестанно вспыхивала наверху рубиновым огнём лампочка.

В открытую дверь рубки веял свежий ветерок, светило солнце, торопиться нам было некуда, пароход, посапывая паром, дыша жаром из утробы, неподвижно стоял на якоре. Мы разговорились, зашла речь о футболе, у радиста – худощавого, нервного – дрогнули ноздри, глаза загорелись, и я узнал о предстоящем матче. Команда парохода «Юшар» готовилась к футбольному матчу с командой Каменки. У них была уже одна встреча, выиграли футболисты Каменки – теперь моряки намеревались взять реванш.

Потом мы встречались с радистом на палубе, на трапах, в столовой, где он совещался о чём-то с моряками и, увидев меня, каждый раз дрожал ноздрями, и улыбался, и говорил весело вполголоса:

– Порядок!

Это относилось, разумеется, к футболу.

Была минута волнения, когда выяснилось, что пароход опаздывает против намеченного и что команда Каменки может разойтись, не дождавшись. Но в Мезень тотчас была послана радиogramма, которую передавал всё тот же радист, и я воображаю, как он стучал и как предвкушал при этом будущую свою игру!

А едва «Юшар» бросил якорь против Каменки – от пристани отвалил и полным ходом пошёл к нам буксирный катер. Он причалил с левого борта, в него сразу стали прыгать моряки с чемоданчиками, и я, хоть и был болен, тоже прыгнул – так хотелось посмотреть мне на этот матч.

И ещё не отошла от пристани баржа, которая должна была принять пассажиров с парохода, мы были уже на берегу и поднимались всё выше и выше по деревянным уступам, по крутой деревянной дороге. А на всех этих уступах было несметное количество людей, вышедших встречать пароход, принаряженных, весёлых, ещё молчаливых, приготовившихся обнимать родных и друзей, вскрикивать от радости и слушать, как смеются и вскрикивают другие.

Мы шли мимо них быстро, как только было можно, и кто-то из шедших впереди бережно нёс мяч – и на нас поглядывали мельком, понимая, что мы не те, кого они так ждут, что у нас футбол, что это интересно, но это потом, впереди, а теперь они не этого ждали тут, на берегу, при свете белой ночи.

Так мы прошли мимо лесозавода, под погромыживающей эстакадой, по мосту через длинный бассейн, забитый брёвнами, свернули направо, между домов, по деревянным мостовым, мимо огородов, – и вышли на стадион.

Уже видны были ворота – те и другие, уже слышны были сильные тугие удары по мячу, уже пестрели на поле жёлтые майки команды Каменки...

Разделись и моряки «Юшара», разделись и оказались в большинстве своём лёгкими, поджарыми ребятами, у которых только шеи и кисти рук были загорелыми. И моряки тоже немного потренировались, немного размялись, но как-то торопливо, неловко – надо было начинать игру, шёл десятый час.

И началась игра! Признаться, когда я смотрел на раздевшихся моряков, когда увидел их поджарость, их усталые после вахты лица, заметил их нестройность, несобранность, выразившуюся даже в пестроте маек и трусов, я втайне с грустью предрёк им поражение. Мало того, я не надеялся даже увидеть спортивную игру, я думал, что этот матч будет из тех, когда голы в те и другие ворота забиваются десятками.

Но игра началась, фигурки рассыпались по полю, мяч стал подниматься и опускаться – и, как всегда, поначалу казалось, что фигурки передвигаются не торопясь, а мяч взлетает и опускается слишком медленно.

А что было за поле! На нём не было ни боковых линий, ни штрафных площадок, ни центра... Всё оно было усыпано щепками, опилками, покрыто торфяными кочками. По полю в разных направлениях задумчиво перебегали собаки. Иногда они садились и, не обращая внимания на игру, следили за другими собаками, приближающимися к ним с противоположной стороны.

Не было и болельщиков, только ребята ездили, скособочившись, подсунувшись под раму, поднимаясь и опускаясь на педалях, – ездил по полю на велосипедах, следя за игрой.

А игра между тем налаживалась. Она приобретала осмысленность и наливалась тем нервным током, который до конца позволяет игро-

кам выдерживать высокий темп. И было всё, что бывает, когда играют мастера: были прорывы, молниеносные броски, были прекрасные точные передачи, удары головой и комбинации. Правда, было всё это не на том уровне, на каком бывает у мастеров, но что из того! И ещё была та корректность в игре, то безусловное и мгновенное осознание своих ошибок, которые редко можно встретить у мастеров.

С изумлением оглядывался я и видел белую ночь, поле, засыпанное щепками, которые хрустели у игроков под ногами, собак, велосипедистов-ребят, всё прибавляющихся болельщиков. И слышал уже такие обычные крики их и свистки, слышал тот невнятный тревожный и короткий гул: «У-у!» – который рождается и тотчас смолкает во время острых моментов возле ворот.

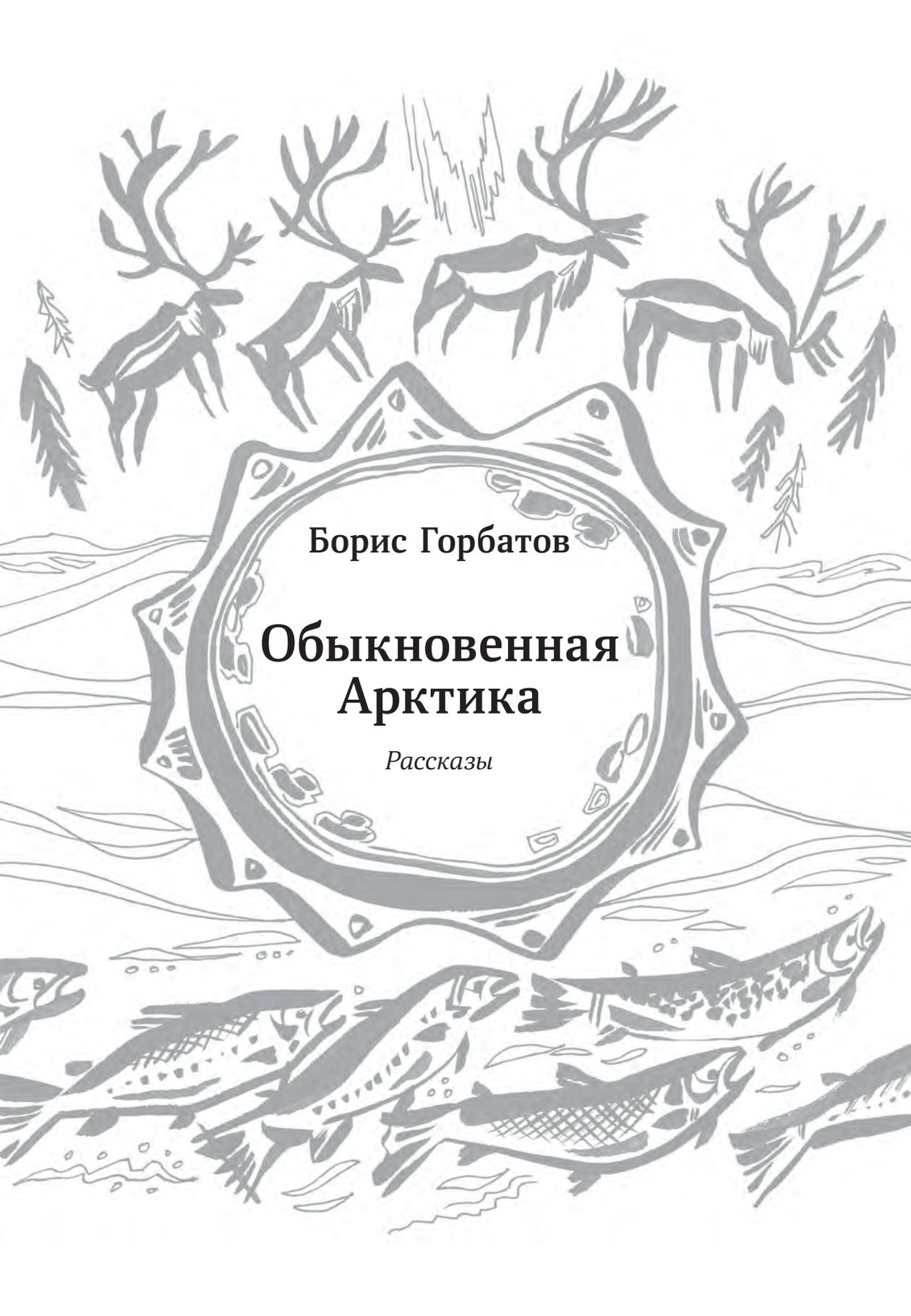
Ввиду опоздания парохода решено было сперва играть по тридцать минут в тайме. Но потом игроки разошлись, пришлось увеличить время до нормального. Пришёл вскоре на стадион и капитан «Юшара» Жуков и даже в лице менялся, так болел за свою команду. Но когда во втором тайме Жуков сменил судью на поле, когда мне как-то и смотреть на него стало неловко – так уверен был я, что он станет «подсуживать», то и это опасение моё быстро развеялось: первым же свистком он назначил штрафной удар в сторону своих ворот.

Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу команды «Юшара». Футболисты все вместе разделись, стали купаться в бассейне, тела их бронзово просвечивали сквозь чайно-коричневую воду, а кругом ещё не остыл жаркий дух разогретого дерева, небо было светло и от высочайших облачков казалось перламутровым, на реке раздавались короткие крики буксиров, постукивая, побрякивая, шёл по транспортёрам лес...

Лет пять назад я сотрудничал в газете «Советский спорт». Я писал очерки о чемпионах и мастерах спорта.

И вот, когда я смотрел на полночный матч в Мезени, мне вспомнился вдруг один легкоатлетический сбор под Москвой.

Среди палаток по полянам, под деревьями ходили, бегали, прыгали люди такого роста и такого сложения, что я – молодой крепкий парень – показался себе в тот день ничтожным и слабым. Их было много, они были собраны в одно место, и это место на берегу водохранилища, залитое летним солнцем, было как бы страной будущего, и, глядя на высоких смуглых обитателей этой страны, я думал тогда с восхищением: вот каким может быть человек!



Борис Горбатов

**Обыкновенная
Арктика**

Рассказы



Борис Леонтьевич Горбатов
(1908–1954)

Большая вода

В полярном году есть один в буквальном смысле слова непутёвый месяц.

Это какой бы вы думали? Это... июль. Точнее: с 20 июня по 20 июля. Именно в эту пору Диксон становится островом.

Пароходы ещё не ходят, самолёты уже не летают, собаки не бегают. Словом, в июле люди сидят по домам и ждут. Июль – месяц полного бездорожья, но зато и предчувствия больших дорог.

Удивляться не следует: в полярном календаре всё наоборот. Здесь самый солнечный месяц – апрель, а самый ненастный – август; здесь в октябре уже зима, а весна, робкая и измученная дальней дорогой, добредает сюда лишь в конце июня. И июль здесь – перевальный месяц, гребень года, месяц больших ожиданий и неясных тревог.

Именно в эту пору дядя Терень с Восточного берега надевает высокие белые сапоги из белужьей кожи, жирно мажет их ворванью, берёт ружьё, палку и табак, вскидывает на спину походный мешок и трогается в путь-дорогу.

– Куда ты собрался, дядя Терень? – удивлённо встречает его сосед по промыслу, молодой парень, зимующий по первому году. – Да кто же в такую погоду ходит?

– Я хожу, – просто отвечает дядя Терень, – тринадцатый год хожу.

– Куда ты идёшь, дядя Терень?

– А на Диксон.

– С ума ты сошёл, старик! Полтораста километров! Оставайся дома. Скоро пароходы пойдут.

– Мил человек, – удивляется дядя Терень, – как же мне не идти? Я не пойду, кто же пойдёт тогда?

– Да иди-то зачем?

– Идти надо, чудак-человек! Я, брат, всю жизнь хожу. И в деревне, бывало, ходил. Кто же другой пойдёт? – бормочет он, нетерпеливо поглядывая на дорогу. Ему скучно всё это объяснять. – Почты не будет ли какой до Диксона? – спрашивает он, оживляясь. – Так я возьму да и пойду, пожалуй.

– Почты? – конфузится сосед. – Нет, что уж... Ну, да коли всё равно идёшь, захвати падырку*. Тисни там... – И шёпотом прибавляет: – Нехай приезжает Настя-то...

Дядя Терень усмехается, забирает радиограмму и трогается в путь. Он идёт и бормочет в усы песню, которую сам придумал:

Долог путь до моря сизого... Эх!

Тяжек путь до острова скалистого... Эх!

Где ты, мачта, где, заветная?

Э-эх!

В тундре – весна. Звенят большие и малые ручьи. Со стоном взламываются речушки в горах. Дрожат покрытые тонкой плёнкой заморозков рябоватые озера, лужи, купели стоячей, остро пахнущей мхом и землёй талой воды.

Вода всюду. Ступишь ногой в мох – и мох сочится. Тронешь мшистую кочку – и кочка сочится. Станешь робко ногой на ледок – и из-под ледка брызнет вода, звонкая, весенняя. Вся тундра сейчас – сплошное болото. Оно оживлённо всхлипывает под сапогами, мягкое, податливое, покрытое жёлтой прошлогодней травой и нежным весенним мхом, похожим на цыплячий пух.

Весна входит в тундру робко и неуверенно. Останавливается. Оглядывается. Испуганно замирает под неожиданным нордом, ёжится под метельным остом и всё-таки идёт, идёт... Уже сполз в лощины снег, но ещё не стаял. Уже открылись забереги, но лёд ещё прочен. Уже появился гусь, но ещё нет комара.

Подо льдом на реке свершается невидимое глазу великое движение. Гидрологи отмечают повышение температуры и падение солёности воды в заливе – верные приметы надвигающейся весны.

Но на промыслах и зимовьях Восточного берега, где гидрологов нет, самая верная примета – дядя Терень.

* Падырка (ненецк.) – письмецо.

– Скоро быть большой воде, – радостно говорят в избах. – Уже дядя Терень пошёл.

Третьего дня его видели в бухте Белужьей, вчера его песню слышали на Сопочной Карге. Он идёт на двадцать дней впереди большой воды. У него свои расчёты. Ни разу ещё не было, чтоб они не оправдались. Делайте заметки в календаре, высекайте топором зарубки на палке – через двадцать дней в том месте, где прошёл дядя Терень, быть большой воде.

Он идёт по вязкому берегу и поёт:

Гой ты, тундра пробуждённая... Эх!
Ты, дорожка бездорожная... Эх!
Мои ноженьки промокшие...
Э-эх!

Кричит гусь в небе. За горой протяжно ревет олень. Пронзительно вопят чайки-мартышки. Полярные совы, важно раскинув свои великолепные весенние наряды, носятся над рекой, садятся на чёрные с прозеленью скалы. Шустрые лемминги со злобным писком шныряют под ногами. Выпорхнула из-под кочки жирная белая куропатка, побежала по снегу, переваливаясь с боку на бок, как купчиха.

– Эй, барыня, погоди! – крикнул ей вслед дядя Терень, не успевший скинуть с плеча централку.

Куда там! Испуганно закосолапила, взлетела – и нет её!

А под ногами уже возятся проворные кулики – остроносые сплетники, попискивает куцехвостая пеструшка-салопница в рыжей шубейке, пробежал песец, драный, облезший... и всё это – живущее и оживающее – суется, хлопочет, кричит, звенит, поёт, радуется весне. Даже лёд на реке ломается с радостным звоном.

Всё правильно, сроки сбываются. Дядя Терень довольно улыбается в усы.

Он подходит к бревенчатому домику под медно-красной скалой.

– Эй! – стучит он в дверь палкой. – Есть хозяин дому сему?

И ждёт ответа. В избе тихо. Из трубы струится лёгкий унылый дымок. Сугробы подле избы начали уже таять, из них выглянули на свет ржавые консервные банки. Они, как и подснежники, появляются только весной.

– Есть живая душа в доме? Отзовись! – снова кричит старик, нетерпеливо постукивая палкой.

Дверь распахивается, и на пороге появляется унылый лохматый парень.

– Ну, здравствуй, Арсений!

– Здравствуй! – нехотя отвечает парень, пропуская вперёд гостя.

– Неладно гостя привечаешь, – укоризненно говорит дядя Терень и сбрасывает с плеч ружьё и походный мешок. – Почто скучный?

Он окидывает и избу, и парня внимательным, но насмешливым взглядом. На столе – ворох писем, телеграмм, фотографий: курносая бабёнка, кудряшки из-под берета; вот она же в шубке, она же в сарафане, голое плечо блестит. Вот опять она же на стене. Улыбается жеманно и застенчиво.

– Угу! – произносит дядя Терень и садится на полешко у печи.

Однако он ни о чём не спрашивает. Он всё уже знает, всё понял. Знает и какое поручение даст ему Арсений. Стаскивает сапоги, ставит их к печи и молчит. Ждёт, глядит, как бегут по стеклу мутные ручьи. Слушает, как звенит капель с крыши.

Арсений молча бродит по избе, ставит чайник на огонь, чашки, хлеб, мясо – на стол, потом тяжело опускается на табурет.

«Ну, как нынче промысел?» – надо бы спросить дяде Тереню по обычаю, но он не спрашивает. Арсений молчит, молчит и он.

– Разлюбила, – шепчет Арсений. – Ты не говори, дядя Терень, не спорь, пожалуйста...

– Я и не спорю.

– А я тебе говорю: сука она. Вот кто!

– Ты и прошлый год так говорил. Одначе ошибся.

– А теперь уж не ошибусь, нет. Две недели в этом деле разбираюсь. Все письма подобрал... Одно к одному, – бормочет Арсений. – Не ем, не пью, из избы не выхожу... всё читаю... Всё читаю...

– Разобрался? – насмешливо спрашивает дядя Терень.

Но Арсений не слышит насмешки.

– Вот, – говорит он, – вот. Сам гляди, старик.

Он раскладывает на столе письма. Так следовательно раскладывает вещественные доказательства.

– Вот, – суетится он, – от двадцатого ноября письмо. Первое нонче. Видишь в конце: «горячо-горячо целую»? Заметил? Горячо-горячо... А вот – девятнадцатое декабря. Вот – «крепко целую»... Не горячо, старик, а только крепко... Заметил?

– Это что ж, хуже?

– А вот последняя радиограмма, майская. Читай: «целую». Просто – целую. Без никаких. А время приметил? Мая третьего. Майское дело... Закрутилась, хахаля нашла. Ясно? – торжествующе спрашивает он. Горькое это торжество! – Нет, ты сам посмотри, сам... – И он тычет дяде Тереню письма.

Дядя Терень неторопливо достаёт из-за пазухи очки, напяливает их на нос. Глядит на письма. Действительно: от двадцатого ноября – «горячо-горячо целую», от девятнадцатого декабря – «крепко целую», а от третьего мая – «целую», просто, без никаких.

– Ну? – тревожно спрашивает Арсений.

Какого ответа он ждёт? Утешения или подтверждения злой догадки? Дядя Терень необычайно серьёзно вертит в руке письма и молчит.

– Ну? – снова спрашивает Арсений.

– Это весна... – наконец произносит старик. – Весна в тебе бушует, парень.

– Весна? – растерянно переспрашивает Арсений. – При чём тут весна?

На печи запел чайник. Дядя Терень ставит его на стол и принимается за еду. Арсений ничего не ест, вертит в руках письма.

– Ты не спорь, не спорь... – бормочет он. – Я эти письма до дыр перечёл. Я каждое слово в них перетряхнул, взвесил. Не зря ведь слово сказано. Каждое слово свой смысл имеет.

– Это у тебя оно нонче смысл имеет, а бабёнка твоя их зря ставит. Какое в голову придёт.

– Не бывает так, старик, не бывает. Слово от души пишется. Вот от двадцатого ноября письмо... Я его наизусть помню. С тяжёлой душой письмо писано. Скучала по мне, видно, мучилась... – Его лицо становится добрым, нежным, серые глаза – голубыми.

– Мучилась? Ну вот... – поддакивает дядя Терень и смеётся.

– Потом пошли письма смущённые... будто виноватые. В чём-то был её передо мною грех. Был. А последнее письмо – вовсе лёгкое. Так, без души пущенное. Пишет: в кино была.

– А что же, ей и в кино не ходить?

– Да писать-то мне об этом зачем? Я ведь в кино не хожу. Ну, ходи, ходи в кино, – кричит он вдруг в дверь, словно продолжая свой давний спор с женою. – Да пишешь-то мне об этом зачем? Сладко ль мне такое читать?

– Кровь в тебе бушует, парень, – качает головой дядя Терень. – Это от одиноческой жизни. Бывает...